



С. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Чувствительный и хладнокровный

Написанная по поводу статей,
относящихся к Ходынской катастрофе *

I

Среди благонамеренных публицистов, составляющих гордость нашей печати, едва ли найдутся два других писателя, дающих более пищи для ума и сердца читателей, чем г. Розанов и Spectator¹.

При всем разнообразии своих дарований и своих темпераментов оба имеют ревность и дерзновение; оба — смелые и оригинальные мыслители, побивающие все рекорды благонамеренности; оба на всех парах и под благоприятным ветром плывут против давно господствовавшего течения. И оба восполняют друг друга. Г-н Розанов более чувствителен; г. Spectator более хладнокровен. Г-н Розанов родился под влиянием Сатурна и Венеры, из коих первый сообщает ему меланхолию, а вторая — впечатлительность, доходящую до сладострастного импрессионизма; г. Spectator зачат под Меркурием, который окрыляет его красноречие; и он испытал на себе щедроты Юпитера, который наделил его трезвенным оптимизмом. Г-н Розанов — поэт, идеалист, лирик, г. Spectator — прозаик и реалист в своем классицизме. Один исполнен елea и горчицы, другой — оцта и соли. Оба вместе составляют прекрасный соус для несколько пресного, канцелярского салата «Русского обозрения»² — странного журнала, водянистого и безвкусного, как бутылочный огурец.

В последней книжке этого органа, ежемесячно выпускаемого г. Александровым³, мы находим статью г. Spectator'a «Никола-

* Прим. издателя.

евские времена»⁴ и целых две статьи г. В. Розанова: одну подлиннее — под заглавием «Кто истинный виновник этого?»⁵ и другую совсем коротенькую, чисто лирическую, под заглавием «Две гаммы человеческих чувств (по поводу Ходынской катастрофы)»⁶.

Все три статьи полны ревности, дерзновения и заключают в себе ряд новых и смелых мыслей.

В статье «Николаевские времена» г. Spectator скорбит о том, что дети наши развращаются врагами, которые силятся «извратить в их глазах основной смысл русской истории XIX в. и в особенности основной смысл николаевских времен» (с. 535).

В «Двух гаммах человеческих чувств» г. Розанов скорбит о том, что мы хотим вообще учить народ, «в чем-то поправить, в чем-то улучшить через школу» наш «народ — патриарх, наш народ — римлянин», что мы хотим «сделать его патриотом по Иловайскому⁷, научить вере по кратким начаткам катехизиса» (с. 769). Он плачет о том, что «всякий выученный консулам (?) и алгебре русский мальчик» есть «естественный альфонс» своего отечества, своего города и «той практики, которой он занимается» (с. 646).

Предостерегая и назидая общество, которому он выясняет смысл новейшей его истории, г. Spectator тем не менее исполнен бодрящего оптимизма: «перекрестившись», Россия уже и теперь шествует по славному пути, предназначенному ей Николаем I; и она ступает так твердо и уверенно, что никакие «колебания», случившиеся в эпоху Александра II, ныне и впредь более немислимы (с. 534 сл.).

Г-н Розанов, наоборот, ожидая от русского народа великих и славных дел в будущем, оплакивает его настоящее: «Россия — самоизменяющая (!), Россия — бегущая от себя самой, закрывающая лицо свое, отрицающаяся имени своего, Россия — это Петр во дворе Каиафы, трижды говорящий “нет, нет” на вопрос: Кто он? — вот истинное соответствующее определение ее в текущий фазис истории. И никогда, никогда *этот* отрицающийся Петр не восплачется об отречении своем; никогда не прокричит для него петух укоряющим напоминанием»*.

Далее еще безотраднее: «Если Россия есть как бы духовно обмершая страна, если из всех ее населяющих народностей русская с наибольшей робостью где-то в углу и под фалдою (?) читает свое credo — слишком понятно, что все остальные народности смотрят на нее как на очень обширный и удобный (?) мешок». В

* Странные курсивы принадлежат подлиннику. См.: «Кто истинный виновник этого?», с. 653.

другом месте центральная Россия уподобляется «старому чулану со всяким историческим хламом, отупевшие обитатели которого (?) живут и могут жить без всякого света, почти без воздуха» (с. 643) — смелое сравнение с тараканами!

Как видит читатель, оба публициста довольно существенно разнятся в своей оценке настоящего. Впрочем, это скорее различие нюансов и темпераментов. В сущности, оба писателя и скорбят и торжествуют, оба предостерегают и оба готовы к борьбе, — один чувствительный и тревожный, другой — хладнокровный и спокойный, как сама истина — даже там, где он случайно от истины уклоняется.

II

Смысл русской истории XIX в. и в особенности времен николаевских открывается нам в новом свете в статье г. Spectator'a. Спасибо уже за то, что не «по Иловайскому».

«Многое творилось в России при Николае Павловиче, чего он не знал, и, тем не менее, мы никогда ему этого незнания в вину не поставим, так же как мы не поставим в вину Колумбу то, что он не знал всей открытой им Америки, а знал лишь незначительную часть ее».

Как ни странно кажется на первый взгляд такое сопоставление Николая I с «гениальным генуэзцем», наш публицист считает это сопоставление «неотразимым».

«Колумб открыл Америку. Что же открыл Николай Павлович? — Россию.

Как Россию? Россия существовала и была всем известна за тысячу лет до Николая. Как же мог он открыть ее?» (с. 529).

— «Да, — со спокойной уверенностью отвечает г. Spectator, — Россия существовала до Петра Великого включительно». Но тут-то и произошла та «самоизмена», о которой так хорошо говорит г. Розанов. Здесь сходятся оба публициста: в течение петербургского периода «Россия находилась, если так можно выразиться, вне России; она была отдана на выучку в иностранную школу» и забыла о себе, о России, «со всей ее своеобразной национально-духовной культурой». И вот эту самую настоящую Россию, забытую Россией цивилизованной, открыл Николай I. «Подобно Колумбу, — говорит г. Spectator, — он один мог «заставить своих современников против воли устремиться на неведомый им путь для открытия этой России» (с. 528). Он является, таким образом, истинным пред-

шественником наших славянофилов. Эти последние, оказывается, играли роль простых спутников Колумба. И они приписали себе его дело! Подобно Америго Веспуччи, они дерзнули дать свое имя его открытию!

Правда, впрочем, по замечанию г. Spectator'а, и сам «Колумб имел лишь неясное представление о той земле, в существовании которой он был уверен, и никто, конечно, ему этого в упрек не поставит». Он и открыл поэтому не всю Америку, предоставив другим довершить его дело.

Но собственное дело Николая I не ограничивалось одним открытием настоящей России. Перед ним стояла двоякая задача. «Прежде всего надежало водворить в ней (в России) внешний порядок, соответствующий самодержавному строю ее государственной жизни», которого, по-видимому, до Николая не было вовсе. «Затем уже необходимо было влить в эту новую внешнюю форму новую внутреннюю жизнь» (с. 532). К сожалению, Николай I успел выполнить только первую часть своей задачи, передав «своему преемнику идеально-точный и современный правительственный механизм, благодаря которому можно было легко, просто и скоро провести какую угодно внутреннюю государственную и общественную реформу». Только «Николаевская система» приучила «правительственные органы исполнять беспрекословно веления верховной власти, а народ — беспрекословно повиноваться им» (с. 532). Вторая часть задачи Николая I была разрешена после него неправильно: наступили пагубные «колебания», которые привели Россию к краю гибели. Но «явился новый Царь-богатырь, который спас ее простым возвращением к николаевской системе. И система эта, о которой все забыли, оказалась все столь же прочной, надежной и целесообразной, как и 25 лет тому назад» (с. 533).

Отсюда с поразительной ясностью получается следующая краткая схема новейшей русской истории:

«XIX век является для России тем, что И. С. Аксаков называл “возвращением домой”, но в более широком смысле. Возвращение это делится на следующие фазы:

1. Призыв домой (1812 год).
2. Сборы в путь (Николаевские времена).
3. Первые неуверенные и неверные шаги (шестидесятые и семидесятые годы).
4. Первые решительные шаги по ясно открывшейся дороге (Александр III)» (с. 534–535).

«Николай I указал нам путь»; Александр II «указал нам на те страшные опасности, которые нам грозят, если бы мы вздумали

уклоняться от прямого пути и от николаевской дисциплины; Александр III показал нам, как избегать этих опасностей...»

«Чего же еще недостает нам для полного успеха в нашем поступательном движении?»

У нас нет лишь одного: уверенности в том, что дети наши поймут так же ясно, как и мы, великие уроки прошлого» (ibid.).

Но с такими публицистами и педагогами, как г. Spectator, мы можем и здесь обрести полное, олимпийское спокойствие и с хладнокровным дерзновением взирать на настоящее, прошедшее и будущее.

III

Читатель, без сомнения, признает, что статья г. Spectator'а блещет оригинальностью и хладнокровием. Все в ней логично и обдуманно. Когда г. Spectator находит, что дважды два — четыре, он не может допускать, чтобы лже-наука утверждала, что дважды два — пять, ибо такое утверждение может развратить молодежь. И хотя, может быть, будущие поколения и не во всем согласятся с мнениями нашего публициста, как он сам, по видимому, этого опасается, — в настоящем его краткая схема новейшей русской истории представляет несомненный интерес как для «консерваторов», так и для «либералов», которые равно оценят новую теорию о происхождении нашего славянофильства и оригинальную оценку николаевских времен и шестидесятых годов.

Полнейший контраст с этой хладнокровной исторической оценкой являют собой «Гаммы человеческих чувств» г. Розанова. Само заглавие заставляет нас предвкушать симфоническую картину, в которой автор пытается передать нам свои ходыньские впечатления.

Г-ну Розанову, несомненно, принадлежит крупная заслуга. Он сказал «новое слово» в нашей литературе: он ввел символизм в публицистику. В публицистике он сделал то же, что символисты в поэзии, заменяя мысль и рассуждения гаммами чувств, которые выражаются в странных, новоизобретенных звуках, в бессвязных, иногда совершенно немислимых сочетаниях слов и образов. Таков, напр<имер>, образ Петра, «трижды говорящего нет, нет на вопрос кто он» во дворе у Каиафы, или образ русской национальности, читающей свое credo (?) «где-то в углу и под фалдою». При этом г. Розанов стремится придать своему символизму национальный характер, подражая выкрикиваниям

юродивых и причитаниям прежних воплениц, в которых он, по видимому, усматривает образцы истинно-русской публицистики в отличие от публицистики Запада, сгнившего в своем «рационализме».

В гаммах г. Розанова рационализм отсутствует совершенно, и если попытаться изложить их в форме логического рассуждения, в форме «силлогизмов», то получится чепуха невообразимая, от которой и настоящие юродивые поспешили бы отказаться. Но беспристрастный критик признает в статьях г. Розанова полное соответствие формы и содержания: он оценит лирический полет, растрепанность чувств и поэтический беспорядок мыслей, доводящий нашего символиста до выражений необычайной смелости, скажу — дерзновения: читатель уже видел, как он сравнивает Россию зараз и с Петром, и с Тем, от Которого Петр отрекается. Читатель знает уже, как г. Розанов высказывает сомнение в пригодности не только «Иловайского», но даже краткого катехизиса для народного обучения. И это ревнитель церковно-приходской школы! Местами он возвышается до пафоса древней сивиллы.

«У нас нет идеи, у нас нет плана; у нас нет веры: *вот это* — истина; у нас нет знания: *где же истина?* Эмпирики ли мы, не умеющие считать по пальцам? Гамлеты ли мы, ушедшие в безбрежность сомнений, — кто нас разберет? Но ночь темнее тучи, но черная ночь висит над нами; корабль бытия нашего (!) не прочен; нет мысли в нем; и страхом, и ужасом, и негодованием, и смехом самым обыкновенным, и темным мистическим предвидением полна душа при взгляде на настоящее, при мысли о будущем» (с. 645).

Так вещает г. Розанов.

Впрочем, г. Розанов не только поэт, он — мыслитель. И если он и не Колумб, то он все же Кортес или Писарро в своем роде: он исследует такие стороны «настоящей» России, которые до него были совершенно неизвестны; он открыл новую, особенную русскую «психическую гамму» или русскую «гамму человеческих чувств»! И эта гамма, оказывается, до такой степени различается от «гаммы чувств западно-европейских», что «законы одной (из этих гамм) не имеют никакого значения для другой» (с. 767).

Эти гаммы «не воспринимаемы, не усвоимы для одного сердца. И та душа, которая упивается порядком чувств, текущих в одной гамме, отвращается как от нестерпимой нравственной какофонии от чувств, подчиненных закону другой гаммы»! И это открытие, которое сам г. Розанов сравнивает с «рентгеновским светом», было произведено им по поводу ходынской катастрофы! Не упади желудь на нос Ньютона, мы ничего не знали бы о

законах тяготения. Не случись Ходынки, — наша «психическая гамма» не была бы открыта. Подумаешь, и желудь мог не свалиться, и Ходынки могло не быть, но что было бы в таком случае — мы не знаем; вероятно, и Ньютон, и г. Розанов сделали бы свои открытия по другому поводу. Во всяком случае, г. Розанов столь же мало жалеет о свалившихся «желудях», как и его великий предшественник.

В чем же, спросит нетерпеливый читатель, заключается наша русская психическая гамма, и в чем ее коренное отличие от гаммы европейской? Напрасный вопрос, ибо душа читателя настроена лишь в одной гамме и потому другую воспринять никак не может. Но если читатель захочет узнать, в какой тональности настроена его душа, то у г. Розанова он найдет относительно этого подробные указания. Спрашивали ли вы себя, кто виноват в ходынской катастрофе? Если да, то ваша душа, несомненно, настроена в европейской тональности. Но если при таком вопросе на вашем лице «выражается самое живое недоумение», то знайте, что душа ваша настроена в русских ладах, в национальной психической гамме.

«Кто был *виновен* теперь в Ходынке, немного лет назад в народном голоде и уже очень давно в *бедствиях* крымской войны? Кто был виновен, кого бы я мог *осудить*?.. О, осудить только по бессилию: кто тот, кого я хотел бы растерзать, и растерзал бы, если б имел силу, но вот несчастным своим положением, несчастным положением моего отечества обречен на ярость слов без всякого соответствующего действия» (с. 767). Негодование «бежит вперед» самого сострадания: «сострадание — искусственно, но негодование вполне естественно, оно течет свободно, оно не усиливается отыскать слово; оно изящно (?) и мудро (?) как сама природа, как *живая* природа...

Это — гамма западно-европейских чувств, — тех чувств, из которых выросла революция, ранее — Реформация, еще ранее — католицизм, как бурный, исполненный презрения разрыв Запада с «растленным» Востоком...» (с. 768).

Мы не совсем понимаем, к чему искать виновников ходынской катастрофы и желать их растерзания, после того как они указаны, наказаны или заклеены и без этого Высочайшим указом.

Мы не понимаем также возможности искать или терзать какого-то «виновника» неурожая 1861 года или давно почивших прямых и косвенных виновников севастопольского погрома. Однако оказывается, что чувства негодования, которые должны бы побуждать нас «искать и терзать» таких «виновников», не только «естественны» или «изящны», но даже «мудры, как сама

природа», хотя составляют исключительную принадлежность «западно-европейской психической гаммы». Ибо то же самое чувство, которое заставляло нас негодовать против «московских властей», не исполнивших своего долга на Ходынском поле, породило католицизм, протестантизм и революцию.

Что же породила русская «психическая гамма» и в чем состоят ее отличительные признаки? На этот вопрос г. Розанов не дает столь определительного ответа:

«Растленный» Восток таким и *признает* себя (!?); кающийся мытарь — его прототип; грешница, отирающая ноги Учителя своими волосами — его идеал... Кого осудит мытарь? На кого поднимет глаза грешница? Осудят ли они «среду», «социальный строй», который их пожрал (?). Они не понимают этого. Блаженны непонимающие! Блаженно, трижды блаженно это непонимание, которое дает душе такое чудное упокоение, мирную кончину на исходе 60-го года, бодрость труда в течение 60-ти лет».

Читатель видит, — здесь уже не гамма, а ряд аккордов. Не совсем понятно только, кто тут скончался в исходе 60-го года: мытарь, грешница или убитые на Ходынке? В последнем случае дело уже совсем непонятно, ибо в числе убитых были не одни шестидесятилетние старики, и притом такую кончину едва ли можно назвать мирной. Не забудем, однако, что мы имеем дело с символистом. Может быть, автор делает тут какой-нибудь намек на шестидесятые годы, но мы все-таки не понимаем, а потому «блаженно непонимание»!

Далее мы узнаем, что помимо чувств негодования существенным признаком западно-европейской «психической гаммы» является любовь к «статистике». Но здесь неожиданным образом в ряды западно-европейцев попадает сам царь Давид, который «вздумал однажды провести статистику населения» и был посрамлен в своих расчетах «почти не менее, чем Франция, которая всякий год считает у себя население и *не досчитывается*». Отсюда мы могли бы сделать тот вывод, что отвращение к статистике должно характеризовать нашу национальную «психическую гамму». Народа считать не следует! Сам г. Розанов идет еще дальше: удержать руку смерти не может никакая статистика, ни медицина, ни социология, ни позитивизм, ни идеализм, а между тем «*это бы* только и нужно». Но это «единое на потребу» дано именно «непониманию». А потому г. Розанов дает нам следующие, свои собственные заповеди блаженства или, если угодно, «заповеди непонимания» (с. 768).

«Блаженны непонимающие! Блаженны голодные и не спрашивающие, почему я голоден? раздавливаемые и не спрашивающие: кем я раздав-

лен? побитые и не задающиеся вопросом: в силу каких причин мы побиты? Блаженны, ибо они будут живы; они будут живы еще и тогда, когда ведущие расчеты с Богом будут тлеть».

Строго говоря, голодные, раздавленные и побитые животные тоже не задают вопрос, почему они голодны, раздавлены и побиты; и неспособность задаваться подобными вопросами о причине переносимых страданий, — вопросами, мучившими уже Иова, — несомненно, ограждает бессловесных от нравственных мучений, доступных одному разумному существу — человеку. Однако до г. Розанова никто не думал, чтобы одно отсутствие понимания могло сподобить нас нетления, избавить от смерти или доставить нам положительное блаженство; никто не видел также особой нравственной заслуги в простом дефекте понимания. Ибо г. Розанов говорит здесь не о кротости, незлобии и смирении, а именно о *непонимании*; понимание представляется как бы несовместимым с этими добродетелями, противно мнению тех, кто думает, что только понимание обуславливает возможность сознательного прощения обид, сознательного смирения, сознательной человеческой нравственности вообще.

Не совсем понятны «заповеди непонимания» и по другим причинам. Кто вел расчеты с Богом по поводу Крымской кампании или по поводу Ходынки? Кого разумеет под Богом наш символист? Каким образом раздавленные, но не понимающие будут спасены от тления, когда понимающие, но не раздавленные будут тлеть? Не смешивает ли г. Розанов консерватизм с заготовкой консервов? Но и в таком случае рецепт его страдает неполнотой.

Немногим яснее показалось нам требование, предъявляемое нашим автором в другом месте к народам Кавказа и западных окраин — чтобы «все угасающее жило (!) по законам угасания» (с. 646).

IV

Таким образом, мы познакомились с двумя образчиками современной публицистики — чувствительного и хладнокровного темперамента.

Если читатель желает ближе познакомиться с г. Розановым, то рекомендуем ему прочитать другую статью этого автора: «Кто истинный виновник этого?», помещенную в той же книжке «Русского обозрения». Статья эта написана в совершенно неизвестной нам психической гамме, и, вероятно, поэтому мы никак

не могли ее понять: для нас осталось совершенно непонятным, кого и в чем собственно обвиняет г. Розанов. Ясно только, что указанная статья написана не в европейской «психической гамме», ибо в заключении автор увещевает нас освободиться от ложного стыда и сбросить наши еврейские одежды, дабы не прятать под ними «ту прекрасную наготу, которую дал нам Бог». Но, с другой стороны, статья г. Розанова написана и не в той психической гамме, которую он называет русской, ибо г. Розанов, несомненно, *обвиняет* с большим раздражением чуть ли не все народности Российской империи и сбоку инсинуирует против г. Джаншиева, «Русских ведомостей» и армянской интеллигенции. Это, должно быть, какая-нибудь еще третья психическая гамма — не то китайская, не то миксо-лидийская. Минутами нам казалось, что г. Розанов начинает просто говорить «языками» и, забывая предписание апостола, уподобляется трубе, издающей «неопределенный звук».

Но, может быть, читатель не любит восточных ладов и не дорожит тем «мятежным наслаждением», которое может доставить ему вакхический восторг, безумство, исступление и клики В. Розанова. Возможно, что читателю милее трезвая бодрящая струя г. Spectator'a, сначала холодного, но разгорающегося все более и более. В таком случае читатель поступит хорошо, если почитает и его статью. Будем надеяться, что когда-нибудь эти две натуры — хладнокровная и чувствительная, столь прекрасно восполняющие друг друга, вступят в более тесный союз и породят в своем сочетании цельное и оригинальное литературное явление, — род русалки с женской грудью и хвостом пресмыкающегося, которая составит утешение как тех читателей, которые боятся русалок, так и тех, которые в них не верят.

